

Евгений ЕВТУШЕНКО:

Когда я задира́л нос, меня били под ребра

Вег. Москва. - 2000. - 14 июля. - с. 3.

Евтушенко — из редкой породы благодатных для журналистов людей. Потому что даже в ответ на вопрос «Как дела?» он может развернуть картину мира. 18 июля у Евтушенко день рождения. По традиции будет поэтический вечер в Политехе. Там Евтушенко вручат официальные документы на звезду собственного имени.

ЖИВАЯ НАТУРА

Дарья АКИМОВА

— Вы любите дни рождения?

— Праздники-то разные. И цели у них тоже разные. Вот моей маме девяносто. Недавно она поставила себе цель: дожить до ста лет. И она как-то вся преобразилась. Конечно, возраст, она медленно ходит, но она полна внутренней силы, у нее искорки в глазах. Мама не хочет дожить до ста не потому, что не хочется влачить растительное существование. Она хочет прожить новый роман, который я сейчас пишу. Хочет посмотреть, что будет с ее маленькими потомками. У нее девять внуков и правнуков!

Руководители Политехнического мне предложили отважный контракт на выступление до 2019 года. И я чувствую, что досрочно умирать не имею права.

На вечер в Политехе придет один американский поэт из молодого поколения, Кейтс Франклин. У них сейчас расцвет открытых поэтических турниров — слэм-поэтри, которые вообще-то считаются андерграундом. И меня пригласили выступить с ними. «Слушайте, — говорю, — я ведь никакой не андерграунд». Они: «Евтушенко официально быть не может».

— Вы действительно вечный оппозиционер?

— Не нарочно, я же это не калькулирую. Я не люблю стадность. Вот и все, а специально в оппозицию не становлюсь. Когда я во время первой войны в Чечне отказался получать орден из рук президента, Борис Николаевич это воспринял как личное оскорбление. Но это даже не был политический акт! Он был просто человеческий. Я понимал (я знаю хорошо Кавказ), что сделана страшная ошибка. Что будут гибнуть и чеченцы, и наши солдаты. Я терпеть не могу экстремистов, но я несколько раз читал «Хаджи-Мурата», в отличие от тех, кто начал ту войну.

— Так все-таки свобода у нас теперь есть?

— Конечно, есть. Достаточно оглянуться в прошлое. Вообще-то в прошлое ходить не надо, туда нам дорога заграждена горами трупов. В советские времена мы пытались совершенствовать общество насильно, и пришлось изобретать инструменты этого насилия. А Дзержинский в юности НЕ МОГ представить, что он будет начальником самой страшной секретной полиции в мире. Он написал, когда сидел в польской тюрьме, что считает целью своей жизни разрушение всех тюрем на свете.

Политику нужно выводить на уровень человеческих взаимоотношений. Вот Ваня Драч, мой хороший друг и хороший поэт, лидер РУХа, на мои вечера не ходил. И я напечатал письмо к нему: Вань, ну какого черта? Мы что, лично поссорились? Или тебе неинтересны стихи, которые я сейчас пишу? Ну брось ты это, приходи, обнимемся. Может, я в чем-то виноват, но мы посидим, потом выпьем горилки доброй... И вы знаете, он пришел. Это было в Киеве просто сенсацией: лидер РУХа появляется на вечере русского поэта, москаля!

— А как русский поэт чувствует себя в Америке?

— Я никогда бы не стал зарабатывать деньги тем, что мне противно. Что я делаю в Америке? Работаю на престиж русской словесности. Я буду первым человеком, который прочтет курс по Окуджаве. Буду читать курс «Поэзия русских женщин и русские женщины в поэзии». Я уже отдал учительству слишком много времени, мне бы нужен перерыв. Но на гонорары невозможно прожить — и все. У меня все-таки пять детей.

— Почет и признание — это опасно?

— Любый человек в искусстве проходит три теста. Первый — тест на безвестность. Порой люби-



Наверное, я единственный поэт, который может «держат» стадионы. Но это не значит, что я лучше всех

тельский дилетантизм сохраняется на всю жизнь.

Затем — тест признанием, он тоже очень опасный. Некоторые люди, пройдя первый тест, не проходят второго. Ну, скажем, Шолохов. Вот сейчас Солженицын косвенно был вынужден признать, что он ошибся (когда отказывал М. А. Шолохову в авторстве «Тихого Дона»). — Д.А.). Он просто не понял, что можно написать что-то паразитическое, а потом деградировать как личность. Так и случилось с Шолоховым. Даже когда сталинские времена прошли, после ареста Синявского и Даниэля он заявил, что с ними либерально поступили. И талант угасать начал.

Есть и третий тест — испытание забвением. Так было, скажем, с Ахматовой, которая его блистательно прошла. Она же была полужабыта, был только очень узкий круг верных людей.

У меня были моменты, когда я задира́л нос, но меня спасительно били под ребра. И возвращали на землю. И от самовлюбленности я лечился самоиронией. Я, по-моему, единственный поэт, который заявил, что у меня семьдесят процентов стихов — мусор. Это не значит, что я такой уж скромный. Я себе цену знаю. Я написал очень много, и если тридцать процентов моего — стоящие вещи, то это крупное собрание сочинений.

— Женщина-поэт и женщина поэта категорически не совпадают?

— Ну почему? Совпадают. Просто быть женщиной-поэтом так же трудно, как быть вдвойне беременной. Женщина-поэт — она должна не только коня на скаку останавливать, но и политику. Белла Ахмадулина — не политический поэт. А все-таки к Сахарову она поехала в ссылку.

Когда арестовали обоих моих дедушек, мама (и я с ней, четырехлетний) пошла к Матросской тишине. Там стояла очередь. В ней были только женщины и дети. Мужчины боялись просто прийти и узнать, что случилось.

— Дает ли вам жизнь поводы для оптимизма?

— Вы знаете, два года тому назад, до обвала рубля, я был за границей и всюду видел наших туристов. Три с половиной миллиона русских граждан впервые как туристы выехали в 98-м году за границу! Я когда-то писал: «Границы мне мешают. Мне неловко // не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка». Потом какая-никакая, пусть расхлябанная и несовершенная, но свобода прессы у нас есть, и за нее надо бороться. Даст Бог, мы не скатимся к авторитарному режиму.